**Паром**

Альфонс Доде

До войны здесь был красивый висячий мост на двух быках из белого камня и с просмоленными канатами; они уходили вдаль к просторам Сены, создавая впечатление воздушности, придающей такую красоту аэростатам и морским судам. Под высокими средними арками дважды в день проходили в клубах дыма караваны шаланд и баржей, и буксирам даже не приходилось опускать свои трубы; на берегу же у моста находили прибежище вальки, мостки для прачек и привязанные к кольцам рыбачьи лодки. Аллея тополей, тянувшаяся через поля, точно громадный зеленый занавес, колеблемый легким ветерком с реки, вела к мосту. Прелестный был вид...

В этом году все изменилось. Тополя хоть и стоят на прежнем месте, но ведут в пустоту. Моста больше нет. Оба его быка взорваны, и лишь груды разбросанных камней напоминают об их недавнем существовании. Беленькая будка, где взималась плата за проезд, наполовину снесена взрывом и напоминает свежую руину — не то баррикаду, не то разбираемое на слом строение. Канаты и проволока печально мокнут в реке; осевший в песок настил моста выдается из воды наподобие затонувшего судна и торчащий из него красный флаг предупреждает проходящие баржи об опасности; и все, что несет с собой Сена, — скошенная трава, обломанные ветки, заплесневелые доски, — застревая здесь, образует омуты и водовороты. В этом пейзаже чувствуется какой-то провал, в нем словно зияет дыра, наводящая на мысль о бедствии. А даль кажется еще печальнее, ибо аллея, которая вела к мосту, сильно поредела. Все эти тополя, раньше такие красивые и густые, а теперь до самых вершин объеденные гусеницами, — деревья ведь тоже подвергаются вражеским нашествиям, — простирают свои голые, обглоданные ветви, и над широкой дорогой, теперь пустынной и ненужной, лениво летают большие белые бабочки.

В ожидании, пока отстроят мост, поблизости соорудили паром — нечто вроде огромного плота. На нем устанавливают запряженные телеги, рабочих лошадей с плугами и коров, которые при виде колеблющейся воды таращат свои безмятежные глаза. Скот и упряжки занимают середину, а по краям размещаются пассажиры — крестьяне, дети, едущие в городскую школу, парижане, живущие на даче. Дамские вуали и ленты развеваются рядом с конскими поводьями. Картина напоминает плот, на котором спаслись потерпевшие кораблекрушение. Паром медленно плывет по реке. От долгой переправы Сена кажется еще шире, чем обычно, и за развалинами рухнувшего моста, между обоими берегами, как будто чуждыми друг другу, горизонт расширяется с какой-то скорбной торжественностью.

В то утро мне понадобилось очень рано переправиться через реку. Будка перевозчика — снятый с колес старый железнодорожный вагон, врытый в серый песок, — вся окутанная туманом, была еще закрыта. Изнутри доносился детский кашель.

— Эй, Эжен!

— Иду, иду! — донесся голос перевозчика, который, еле волоча ноги, шел мне навстречу. Это был рослый, сравнительно еще молодой моряк; в последнюю войну он служил артиллеристом и вернулся, получив ревматизм и осколок снаряда в ногу.

Увидев меня, он улыбнулся:

— Уж тесно-то нам сегодня не будет, сударь...

И действительно, кроме меня на пароме никого не было.

Но пока перевозчик отвязывал канат, подошли еще люди. Первой подоспела толстая ясноглазая фермерша, которая ехала в Корбейль с двумя большими надетыми на руку корзинами, выпрямлявшими ее дородную фигуру и придававшими твердость и уверенность ее походке. За нею на утоптанной дорожке показались и другие пассажиры, еле различимые в тумане, но голоса их явственно доносились до нас. Среди них выделялся женский голос, робкий и слезливый:

— Ох, господин Шашиньо, прошу вас, не обижайте вы нас... Вы же видите, что он теперь работает... Подождите с долгом... Он только об этом вас и просит...

— Я и так довольно ждал... И больше не намерен, — послышался злой голос беззубого старика. — Теперь дело за судебным приставом... Пусть разбирается, как знает... Эй, Эжен!

— Это старый прохвост Шашиньо, — вполголоса сказал мне паромщик. — Ладно! Ладно!

И я увидел на берегу высокого старика, принарядившегося в сюртук из грубого сукна и новехонький цилиндр с очень высокой тульей. Этот крестьянин с опаленным солнцем, обветренным лицом и обезображенными мотыгой руками казался от своего городского платья еще более черным и загоревшим. Упрямый лоб, длинный крючковатый, как у индейца, нос, поджатый рот, окруженный ехидными морщинками, придавали ему жестокое выражение, вполне соответствовавшее звучанию его имени.

— Ну, Эжен, поехали! — прыгнув на паром, скомандовал старик дрожащим от гнева голосом. Пока перевозчик возился с канатом, к нему подошла фермерша.

— Вы это на кого сердитесь, дядюшка Шашиньо?

— Это ты, Бланш? И не говори!.. Я зол... И все из-за этих бродяг Мазилье... — И он кулаком указал на тщедушную фигурку, которая плача плелась по протоптанной дорожке.

— Чем они перед вами провинились?

— Чем провинились? А тем, что вот уже целый год не платят ни за квартиру, ни за вино... И никак не вытянуть из них ни одного су... И сейчас я еду к судебному приставу: пусть вышвырнет этих бродяг на улицу!

— А ведь он неплохой человек — Мазилье... Может быть, это не его вина, что он вам не платит... Ведь столько людей разорились за эту войну.

Тут старого крестьянина словно прорвало:

— Дурень он, вот что! Он мог бы разбогатеть на пруссаках. Но он, изволите ли видеть, не захотел!.. Как только они появились, он закрыл свою лавочку и снял вывеску... Другие трактирщики загребали золото во время войны, а он не наторговал ни на грош... Пуще того, он достукался до тюрьмы со своими дерзостями... Дурень, как есть дурень! А что ему, скажи на милость, было до всех этих историй? Он ведь даже и солдатом-то не был. Продавал бы себе водку да вино и преспокойно бы теперь мне заплатил... Бродяга, да и только! Уж покажу я тебе, как корчить из себя патриота!..

Весь покраснев от негодования, он бесновался в своем парадном сюртуке, размахивая руками с неловкостью крестьянина, привыкшего к рабочей блузе.

По мере того как он говорил, в ясных глазах фермерши, за минуту до этого полных жалости к Мазилье, появилось холодное, чуть ли не презрительное выражение. Она тоже была крестьянка, а эти люди не уважают тех, кто не хочет зарабатывать деньги. Сказав было: «Уж больно жалко жену», она через миг произнесла: «Правильно, не надо было отказываться от своего счастья». И в заключение прибавила: «Ваша правда, раз должен, то надо платить». А Шашиньо, злобно стиснув зубы, по-прежнему бормотал:

— Дурень... Одно слово — дурень...

Перевозчик, который слушал их, не переставая действовать шестом, счел нужным вставить:

— Полно сердиться, дядюшка Шашиньо! Подумаешь, какая вам польза от судебного пристава!.. Много ли выиграете от того, что имущество этих бедняков пойдет с молотка? Повремените немного, не так уж вам приспичило.

— Поговори-ка ты у меня, лодырь ты этакий!.. Ты ведь у нас тоже патриот!.. Прямо тошно глядеть!.. Пятеро детей, ни гроша за душой, а еще вздумал палить из пушек, когда его никто не просил!.. Вот скажите сами, сударь мой (он, по-видимому, обращался ко мне, этот мерзавец), какая нам от этого была выгода? Вот этот, к примеру взять, добился того, что ему испоганили рожу, да еще в придачу потерял хорошее место... А теперь живет, как цыган, в бараке, где дует со всех сторон, дети только и делают, что болеют, а жена надрывается над стиркой... Скажите сами, разве он не дурень?..

Перевозчик вспыхнул от гнева, и я заметил, что на его побледневшем лице шрам выступил еще резче и побелел; но у него хватило самообладания сдержаться, и он обрушил свой гнев на шест, погрузив его так глубоко в песок, что он чуть не сломался. Еще одно слово, и он мог бы лишиться и этого места, так как г-н Шашиньо пользуется влиянием в округе: он член муниципального совета.